НАДЕЖДА ЧАРОДЕЙСКАЯ



ХУДШИЙ ЛЕКАРЬ ИМПЕРИИ

ТОМ 1 · ШОВ

Надежда Чародейская

Худший лекарь империи. Том 1. Шов

«Автор»
2026

Чародейская Н.

Худший лекарь империи. Том 1. Шов / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Одиннадцать лет на скорой — и смерть под колёсами грузовика. Я очнулся в теле семнадцатилетнего дворянина Марка Ртищева, в империи, где дар решает всё. Мой оценили последним разрядом: «Шов. Бытовой. Для починки белья».Смешно. Я вижу тела как крой, ману — как нити, и любую рану могу зашить серебряной иглой. Вот только первый же спасённый пациент носит на сердце чёрный шов. А вечером я нахожу такой же на себе.Теперь мне предстоят лечебный колледж, контракт с Тайной канцелярией и гильдия, которая не любит, когда чужие пациенты выживают. И кто-то, кто сшил это тело до меня.

© Чародейская Н., 2026
© Автор, 2026

Надежда Чародейская
Худший лекарь империи. Том 1. Шов

Глава 1

В прошлой жизни я одиннадцать лет латал людей на скорой помощи. В этой мне выдали официальную бумагу, что латать людей я не годен.

Бумага была красивая: кремовая, с водяным знаком, с печатью Даровой комиссии столичного округа. «Ртищев Марк Ильич, семнадцати лет. Дар: шов. Разряд: шестой, бытовой. Рекомендованное применение: починка текстиля, утвари, кожаных изделий». Ниже — размашистая подпись и дата: двенадцатое сентября 1874 года от Основания.

— Следующий! — крикнул распорядитель.

Я стоял у длинного стола в зале Дворянского собрания и держал в руках приговор. Вокруг пахло сургучом, мокрыми шинелями и чужим будущим.

Справедливости ради, всё прошло ровно так, как я и ожидал. Три дня назад я умер под колёсами грузовика на выезде с вызова — тридцать четыре года, одиннадцать из них на скорой, ни семьи, ни кота, ни ипотеки, зато крепкие руки и привычка не паниковать. А очнулся здесь: в горячке, в узкой кровати, в теле семнадцатилетнего дворянского недоросля по имени Марк Ртищев. Прежний хозяин тела, судя по обрывкам чужих воспоминаний, слег с лихорадкой месяц назад и тихо угас. Мне достались его имя, его сестра Варя, его долги в триста рублей и его нераскрытый дар.

Дар здесь раскрывали в семнадцать. Дар решал всё.

Передо мной к хрустальной сфере приложили руку пухлый юноша из рода Игнатьевых. Сфера вспыхнула оранжевым, по залу прокатился одобрительный гул.

— Пиромант. Разряд второй, боевой! — объявили за столом, и секретарь торжественно заскрипел пером.

Юноша сиял. Девушка в третьем ряду ахнула так, будто ей самой выдали боевой разряд. Я смотрел на сферу и думал: ну давай. Одиннадцать лет я вытаскивал людей с того света чужими руками, дефибриллятором и упрямством. Дай мне здесь хоть что-нибудь — и я это что-нибудь заставлю работать.

Я положил ладонь на сферу.

Сфера не вспыхнула. Не запылала, не заискрила, не затянулась торжественной дымкой. Из глубины хрусталя выплыла тонкая серебристая ниточка, повисела в воздухе, как паутина на сквозняке, и робко обвила мой палец.

За столом наступила тишина. Потом один из членов комиссии — сухой старик с бровями генеральского разлива — придвинул сферу, прищурился и произнес с непередаваемым выражением:

— Шов.

— Простите? — переспросил я.

— Дар шва, юноша. Сшивание. — Старик устало потер переносицу. — Разряд шестой. Бытовой. Портные с таким даром цены себе не знают, конечно. Штопка, починка... Рекомендую галантерею. Следующий!

Кто-то в задних рядах фыркнул. Потом хихикнули ещё раз, и зал откровенно развеселился.

— Штопальщик! — протянул кто-то с галёрки, и десяток голосов подхватили смех.

Я стоял и смотрел на серебряную нить, которая всё ещё вилась вокруг пальца. И вот что странно: пока они ржали, я видел.

Я видел зал. Не глазами — чем-то другим, чем смотрят на изнанку. Мундир распорядителя был не мундиром, а кроем: полотнища, швы, нити. У секретаря над левым виском пульсировала тонкая красная прореха — старый сосуд, готовый лопнуть, года через два-три будет удар. А сама нить на моём пальце была живой. Она хотела шить. Она умела шить. И когда я мысленно потянул её к красной прорехе на виске секретаря, нить послушно натянулась, как леска.

Я отдёрнул руку. Нить опала.

Одиннадцать лет на скорой учат одному: сначала пойми, что за инструмент тебе дали, и только потом удивляйся. Я пока не понял. Но «бытовым» это не было. Я уже знал: «бытовым» это не было.

— Молодой человек, вы задерживаете очередь, — процедили за столом.

Я забрал бумагу и пошёл к выходу. У колонны меня догнал представитель рода Змеевых — гладкий господин с портфелем, который весь зал просидел с видом покупателя на ярмарке.

— Ртищев? — Он сверился со списком, не глядя на меня. — Содержание от попечительского фонда отменяется. Фонд поддерживает перспективные дары. Шестой разряд перспективным не является. Всего доброго.

— У меня сестра, — сказал я. — Двенадцать лет. Содержание было назначено судом при передаче нас под опеку фонда.

— Назначено — отменено. — Господин улыбнулся уголком рта. — Оспаривайте. Судебная палата принимает прошения по четвергам. Очередь — года на полтора.

Он ушёл, оставив после себя запах дорогих духов. Я посмотрел ему вслед и увидел то же, что видел у всех: крой. У господина из Змеевых мана в теле шла ровно, гладко — и вся была стянута к правому плечу тонкими золотистыми стежками. Чужими стежками. Я тогда ещё не знал, что вижу. Просто отметил: странно.

Как странно и то, что я не паниковал. Меня вычеркнули из будущего, обобрали и высмеяли за четыре минуты. В прошлой жизни такое называлось «обычная смена».

* * *

На улице моросило. Столица гудела: по проспекту ползли самодвижущиеся экипажи, шипя манакотлами, извозчики ругались с трамвайщиками, газетчики надрывались про княжескую свадьбу и взрыв на Пушкарской. Я шёл вдоль набережной и считал.

Триста рублей долга. Двенадцать рублей в кармане — всё наследство прежнего Марка. Комната на Гороховой, которую хозяин пока оставляет нам из уважения к покойному отцу. Варя, которой в январе платить за гимназию. В лечебный колледж берут с четвёртого разряда — то есть не берут меня.

Штопка. Галантерея.

Я остановился у парапета и достал нить. Она пришла сразу — серебряная игла света выросла из подушечки указательного пальца, нить потянулась следом. Я поймал взглядом собственный рукав: прореха на локте, старый распущенный шов. Игла вошла в ткань сама. Стежок. Ещё стежок. Нить шла сквозь сукно, не оставляя дырок, и прореха затягивалась на глазах — ровно, плотно, намертво.

Красиво. Бесполезно? Посмотрим.

Я повёл иглой ниже, к коже. К собственной ладони. И в тот же миг увидел себя наизнанку — и присвистнул.

Тело было не телом. Тело было кроем: мышцы — полотнища, сосуды — красные нити, мана — тонкая золотая канва поперёк всего. Порез от ножа, который я заработал вчера на кухне, зиял мелкой прорехой. Игла нырнула туда сама, почти без моего участия. Три стежка — и прорехи нет, только тонкий серебряный рубчик. Я почувствовал, как из меня ушло что-то — капля сил, не больше. Как после донорской сдачи крови, только легче.

Так. Плоть он тоже шьёт. Разряд «бытовой», говорите?

Я собирался изучить себя подробнее, но тут на мостовой взорвался экипаж.

* * *

Звук был такой, будто великан лопнул барабанную перепонку мира. Манакотёл колясочного экипажа разорвало пополам: половину швырнуло в парапет, половину — в фонарный столб. Экипаж осел на бок, из-под него валил белый пар, перемешанный с чем-то тёмным, и люди вокруг заорали все разом.

Я бежал уже на автомате. Одиннадцать лет — это не стаж, это прошивка. Оценка обстановки: пар — горячий, но не ядовитый; котёл мёртв, второго взрыва не будет; пострадавших вижу троих, тяжёлый — один.

Тяжёлый лежал в десяти шагах от экипажа — мужчина лет пятидесяти в сером пальто, аккуратный, седой, с лицом человека, который привык, что его слушают. Осколок манакотла вошёл ему в бедро и вышел, разворотив ногу. Алая кровь хлестала толчками. Бедренная. Минуты три, максимум четыре.

— Целителя! — орал кто-то. — Целителя сюда!

Целитель уже был — городской, в форменном сюртуке с нашивкой третьего разряда, из тех, что дежурят на скоплениях. Он опустился на колени рядом с серым пальто, воздел руки, и над его ладонями расцвёл зелёный свет. Свет лёг на рану — и я увидел, как ткань тела послушно поползла срастаться.

И тут же расползлась обратно.

— Не держит! — Целитель побелел. — Не держит, чёрт бы... Дайте жгут!

— Одного жгута мало, — сказал я, падая на колени с другой стороны. — У него не только артерия. У него канал.

Изнаночное зрение показывало: рана была не просто раной. Осколок прошёл сквозь золотую канву маны и разорвал её вдоль — и теперь мана хлестала из прорехи вместе с кровью, распуская любое заклинание изнутри. Зелёный свет целителя ложился на края — и края расползались, как мокрая бумага. Третий разряд учил сращивать плоть. Третий разряд не учил штопать каналы.

— Отойдите, юноша! — рявкнул целитель. — Вы мешаете!

Я не отошёл. Я поднял руку, и серебряная игла выросла из пальца на глазах у всей набережной.

Потом я делал то, что делал одиннадцать лет: работал. Кровь — прижать, обзор — обеспечить, панику — за борт. Игла вошла в рану, и я зашил артерию изнутри, тремя стежками, как учил меня в прошлой жизни хирург Валентин Петрович, только нитками света. Толчки крови ослабли. Струя стала тоньше. Потом — каплями.

— Держите здесь, — сказал я целителю и кивнул на его ладони. — Теперь ваше. Плоть срастётся. Канал я закрыл.

Он смотрел на меня, как на говорящую собаку. Но руки у него были хорошие — он придержал, зелёный свет лёг вторично, и на этот раз края раны поползли друг к другу и срослись.

Пар шипел. Толпа дышала. Серое пальто открыло глаза.

— Живой, — сказал я. — Ногу берегите, неделя на костылях. Имя ваше как?

Он не ответил. Он смотрел мне за плечо — и я понял, что смотрю и я. Над его сердцем, в золотой канве, чернел шов. Старый, грубый, чёрный. Кто-то когда-то сшил этому человеку сердце — и сшил плохо, вкривь, как стягивают мешок. Чёрные нити пульсировали в такт пульсу, и от них по всему крою расходились едва заметные чёрные лучики — к рукам, к шее, к глазам.

Так не бывает. Я видел это впервые — и знал каждой клеткой одиннадцатилетнего стажа: так не бывает.

— Кто вас зашивал? — спросил я тихо.

Серый схватил меня за запястье. Хватка у раненого была железная.

— Ты видишь шов, — прошептал он. Не спросил. Утвердительно, одними губами, так, чтобы не услышала толпа. — Мальчик. Кто тебя учил видеть швы?

— Никто.

— Значит, сам. — Он закрыл глаза, и по его лицу пробежала тень — усталости? страха? — Завтра. Полдень. — Из кармана пальто, измятого и бурого от крови, он вытащил карточку и вложил мне в ладонь. — Придёшь сам. Или придут за тобой. Третьего, юноша, в нашем городе не дают.

Из толпы уже выделились две фигуры в шинелях без знаков различия — они двигались к нам быстро и очень слаженно. Серый отпустил моё запястье и отвернулся к целителю, снова став просто раненым господином.

Я разжал ладонь. На карточке не было ни имени, ни адреса. Только тиснёный двуглавый орёл и от руки, чернилами: «Завтра. Полдень. Возьмите иглу».

* * *

Домой я добрался к сумеркам — мокрый, в чужой крови, с двуглавым орлом в кармане.

Варя встретила меня в передней, обняла за пояс и тут же отстранилась, потому что я пах как бойня.

— Ну что? — спросила она шёпотом. — Какой разряд? Ты обещал, что будет не ниже четвёртого, и тогда колледж, и тогда...

Я присел на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. Двенадцать лет, отцовские серые глаза, мать умерла, отец умер, брат теперь непонятно кто. В прошлой жизни у меня не было никого. Здесь у меня была она — и триста рублей долга, и это, если честно, было лучшее приобретение из всех.

— Всё лучше, чем мы думали, — сказал я. — Я устроился на работу.

— Правда? Кем?

Я хотел ответить «лекарем» — и не смог. Потому что нить сама поднялась из пальца, и я в сотый раз за день посмотрел на собственный крой — просто проверить, просто убедиться, что серебряные рубчики на месте.

И увидел.

На моём сердце. В самой середине золотой канвы. Чернел шов.

Старый. Грубый. Вкривь. Такой же, как у человека в сером пальто.

Кто-то сшил это сердце до меня. Кто-то зашивал прежнего Марка Ртищева — и, значит, знал, что тот умрёт. Или знал, что однажды в этом теле очнусь я.

— Марк? — Варя тронула меня за рукав. — Ты побледнел. Кем ты устроился?

Я смотрел на чёрные нити, пульсирующие в такт моему новому сердцу, и медленно сжимал пальцы в кулак.

— Пока не знаю, — сказал я. — Но, кажется, пациент у меня будет очень, очень важный.